

АЛЕКСЕЙ К. СМИРНОВ

Собака Раппопорта

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ



Алексей Смирнов

**Собака Раппопорта.
Больничный детектив**

«Издательские решения»

Смирнов А. К.

Собака Раппопорта. Больничный детектив / А. К. Смирнов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-740668-4

Впервые — все три части детективной истории о сыщиках-любителях,
действующих по образу и подобию знаменитой пары с Бейкер-стрит
и расследующих зловещие преступления в стенах больницы имени Чехова.

ISBN 978-5-44-740668-4

© Смирнов А. К.
© Издательские решения

Содержание

Книга первая Последнее дело хомского	6
Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Собака Раппопорта Больничный детектив

Алексей Константинович Смирнов

Анне Яковлевой, подарившей мне идею «Чеховки»

Фотограф Александра Смирнова

© Алексей Константинович Смирнов, 2017

© Александра Смирнова, фотографии, 2017

ISBN 978-5-4474-0668-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга первая Последнее дело хомского

Причину гибели больного не всегда удастся установить даже на вскрытии.

Медицинское наблюдение

Часть первая

1

– Все? – спросил Кумаронов, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Доктор Прятков посмотрел на него неприязненно. Высокий и статный, Кумаронов был одет в синий спортивный костюм и деловито жевал резинку.

– Пока все, – сдержанно ответил Александр Павлович. – Разве что у вас вопросы имеются...

– Есть, – немедленно отозвался тот и озабоченно оглядел ординаторскую. Подошел к окну, выглянул. – У вас тут есть где мангал поставить?

– Не понял, – Прятков нахмурился. – Зачем мангал?

– Ну, как же без него. Ребята придут навестить, надо посидеть с ними. Костерок, шашлычки. Я вижу, там лужайка подходящая...

– Вообще говоря, это территория больницы, – напомнил доктор.

– Это понятно, – рассеянно произнес Кумаронов. – Разберемся. Я свободен?

В его тоне звучала насмешка, а может быть, даже издевка.

Он вышел, а Прятков прихватил историю болезни и поспешил в администрацию, в кабинет главного врача.

Совсем еще юный, начинающий доктор, он торопился пожаловаться на обидчика старшим. Александр Павлович напоминал розового малыша-карапуза, у которого дворовые хулиганы отобрали ведро и накормили песком.

Николаев оказался на месте. Добрейший человек, повеса и волокита, он умел, однако, нагонять страх не то что на молодых и зеленых, но даже на седых зубров, не исключая профессора Рауш-Дедушкина. Впрочем, последний постепенно впадал в детство, и по нему нельзя было судить о других. А дети частенько боятся всякой ерунды – темноты, солидных и строгих дядек...

– Дмитрий Дмитриевич, – взволнованно заговорил Прятков, когда ему разрешили приступить. – Это просто невозможное дело. Этот Кумаронов совершенно невыносим.

Николаев самозабвенно щелкал «мышкой», достраивая пасьянс. Пиковая масть, соревнуясь с бубновой, так и летала по экрану монитора.

– Александр Павлович, – молвил он сочувственно. – Вы сколько времени у нас работаете?

– Уже полгода, – промямлил Прятков, чувствуя, что дело дрянь.

– Ну вот. Вы еще совсем молодой доктор. Только от мамкиной титьки, можно сказать. Но уже пора повзрослеть, – Николаев изогнул бровь так, что та едва не сбила ему колпак. – Что я могу сделать? Мне звонят важные люди. Я работал в кремлевке и знаю, что такое важные люди. Они говорят: поддержи у себя парня. Они требуют: положи его в отдельную палату. Я отбиваюсь, как могу: отдельной палаты, объясняю, у нас сейчас нет, все заняты, а положить я его могу только на травму. Сами понимаете, какое там соберется общество...

Александр Павлович понуро слушал. Старшие не приняли ябеду. Старшие посылали его обратно во двор решать свои проблемы самостоятельно, кулаками.

– Им хоть в лоб, хоть по лбу, – продолжал Дмитрий Дмитриевич. – Пускай, говорят, не будет отдельной палаты. Выдайте ему ключ от врачебного сортира, и хватит с него удобств. У него призыв на носу, родина-мать зовет в армию, ему обязательно надо полежать.

– Заплатили бы военкому... – удивился Прятков. Выходило, что не такой уж он зеленый юнец – кое в чем разбирается.

– И я о том же! – Николаев оторвался от монитора и хлопнул ладонью по столу. – Но зачем платить, когда можно закосить бесплатно?

Прятков с сомнением воззрелся на него, не вполне уверенный в последнем.

– И что я ему напишу? Рабочий диагноз. Продиктуйте, как надо.

Николаев прищурился:

– Нет, вы все-таки повзрослели. Вы даже слишком быстро учитесь. Но мне-то что? Я даже распишусь, если попросите... Он что, совсем здоровый?

– Бугай, – отозвался Александр Павлович не без злорадства. – Кровь с молоком. В детстве ударили мячиком по голове. И все.

– Ну и достаточно, – Николаев откинулся в кресле и возвел очи горе. – Итак, напишите: отдаленные последствия черепно-мозговой травмы... открыли скобочку... пишите: со слов... у него ведь нет справки?

– Нет даже чека из магазина, где покупали мячик.

– Вот и хорошо. Со слов... нет, пусть будет красиво: анамнестически. Итого: отдаленные... нет, давайте так: резидуальные. Резидуальные последствия черепно-мозговой травмы, в скобках – анамнестически... далее: раннего детского возраста, точка с запятой. В виде рассеянной и неустойчивой неврологической микросимптоматики и выраженного астено-вегетативного синдрома с ярким функциональным радикалом. То есть без последствий, – объяснил Дмитрий Дмитриевич. Он иногда любил объяснять простейшие вещи.

Но Прятков жалобно пискнул:

– Какой же у него синдром... на нем пахать можно и нужно.

– Люди атлетического сложения часто бывают весьма уязвимыми и ранимыми, – возразил Николаев. – Можете еще дописать: подозрение на отдаленные последствия родовой травмы шейного отдела позвоночника.

– Да у него шея, что ваш петровский дуб! Цепочка лопается!

– Ерунда. У девятидесяти девяти процентов людей такая травма есть, потому что они рождаются головами вперед. Мы пошлем вас на курсы мануальной терапии, и там вам это хорошенько объяснят.

Обещание послать на курсы выглядело откровенным подкупом.

2

Помедлив у входа в палату, спортивный Кумаронов высокомерно покосился на коридорную кровать с алкогольной бабушкой. От лежбища шел крепкий, комплексный дух. Бабушка, совсем одинокая, тихонько и беспросветно выла. Одеало съехало, и виден был страшный аппарат Илизарова: голенище от испанского сапога. Спицы пронзали коричневую ногу бабушки во многих местах. Аппарат имел наполовину инопланетный, наполовину средневековый вид. Могло показаться, что сработала машина времени, и бабушка – на самом деле не просто бабушка, а ведьма-колдунья – перенеслась в «Чеховку» из мракобесной Европы, волшебным образом избежав костра. На то она и колдунья. Но хитрый дьявол, помогая, одновременно посмеялся над ней и поместил в условия, немногим лучшие. Да еще сохранил в неприкосновенности пыточное устройство.

В палате высокомерие Кумаронова укрепилося и более не сходило с лица.

Внутри лежали не просто униженные и оскорбленные, но и глубоко травмированные люди. Способностью к самостоятельному передвижению обладал один только Хомский, неформальный староста палаты. Хомский, похожий на сплюснутый и пожелтевший огурец, лечился часто и без толку; его череп, давным-давно проломленный, вскрытый и кое-как собранный воедино, позволял ему месяц, а то и два месяца в год влачить существование небесной птицы. Хомский не сеял и не жал, и не думал о завтрашнем дне, если только это не был день выписки; он с удовольствием кушал бесплатную больничную кашу и пюре, ходил в магазин для всей палаты и помогал медсестрам переносить тяжести – матрацы, биксы с перевязочным материалом, бидоны с похлебкой, обозначенные страшными вишневыми буквами огромного размера.

Братья Гавриловы, звероподобной внешности близнецы, пополам делили радости и горести. Все хорошее и плохое, что бывает в жизни, происходило с ними синхронно, и даже жена у них была одна на двоих. И если один Гаврилов мучился похмельем, то и другому аукалось точно такое же похмелье. Эта глубинная, мистическая связь между братьями-близнецами бывает подчас поистине удивительной.

И ноги они сломали одновременно, когда вышибали на спор бутылку, нарочно зажатую дверями электрички.

Они лежали на вытяжении, с задранными ногами, и злобно ругали дурака-Каштанова, который повадился их, неподвижных, дразнить. Мясистый Каштанов сидел на безопасном расстоянии от братьев и хохотал, выпучив глаза. Иногда он на секунду затихал, но только с тем, чтобы указать, сокровенно булькая и клопоча, на общую братскую утку, которую Гавриловым выдали одну на двоих.

Сам Каштанов был дельтапланеристом с переломом пяточных костей и привычным сотрясением мозга. Он лечился в пятый раз, ибо выходил на боевые вылеты в любую погоду – ведро ли, дождь или снег. Травма приняла хроническое течение и ощущалась как неотъемлемый компонент настоящего спорта для быстрых, смелых и ловких.

Вообще, палата подобралась спортивная, ибо возле окна лежал еще и Лапин, вратарь, беззаветно преданный хоккею. Он и сам уж не знал, сколько раз получил по голове шайбой; вещество его головного мозга давным-давно съежилось, затравленное, и сидело как бы на корточках, покуда над ним с ревом проносились бесконечные бури. Мозговые оболочки слиплись вполне безнадежно, и Лапин поступал раз в год, испрашивая себе пункцию – на поддувку, как он уютно, по-домашнему выражался. Брали большой шприц и нагнетали воздух прямо Лапину в хребет, откуда тот худо-бедно растекался по карманам и щелям, по пути разрывая, но большей частью – просто натягивая пресловутые спайки. Лапину не помогало ничто, но Каштанов не смел над ним смеяться, потому что Лапин, когда головная боль его отпускала, все-таки умел передвигаться самостоятельно и в особенно возвышенные минуты мог запросто убить.

Кумаронов оказался шестым и сразу захотел лечь к окошку, но Лапин встретил его тяжелым взглядом и молча кивнул на койку слева, у самого входа; по стенке на койку спешил таракан, обгоняя трогательного паучка, повисшего на ниточке и стремившегося туда же; нить уходила вверх, в бесконечность, никуда.

– Привет, землячок, – ласково обратился к Кумаронову Хомский.

Тот что-то буркнул сквозь зубы, расстегнул огромную сумку и начал выкладывать на постель модные, дорогие вещи: электробритву, зубную пасту, два рулона туалетной бумаги и пляжные аксессуары. Сборник кроссвордов, сборник сканвордов, плеер, богатый свитер, расшитый северными оленями – ну, не то чтобы ими лично, а просто рисунок такой получился. Толстые шерстяные носки. Плавки. Выкладывая все это, Кумаронов мысленно веселел и уже вновь подумывал о мангале. Внутренний дворик»«Чеховки»» казался ему самым подходящим местом.

Александр Павлович нервно огладил лицо и осмотрелся.

Сумки Кумаронова громоздились на полосатом, в коричневых пятнах, матрасе. Постельное белье, тоже в каких-то подозрительных желтоватых, намертво въевшихся разводах, покоилось в изголовье стопкой. Самого Кумаронова нигде не было видно. И Хомского тоже.

Братья Гавриловы лежали смирно; гипсовые сапоги пестрели этикетками с пивных и винных бутылок, которыми облепили гипс, не в силах правильно расписаться на память. Пели комары, не переводившиеся в «Чеховке» круглый год. Хозяева объясняли, что все дело в подвале, куда любопытный Александр Павлович однажды по молодой глупости заглянул, понюхал зловещую, влажную темноту и поспешил отступить, так и не разобрав деталей дела.

Каштанов, конечно, тоже лежал со своими перебитыми пятками и делал вид, что читает маленькую книжку. Ее обложка была даже ярче, чем этикетки, украшавшие гипс.

Лапин спал, отвернувшись к стене.

– Где новенький? – настороженно осведомился Прятов.

Гавриловы синхронно развели руками, будто готовились исполнить какой-то концертный номер на фестивале для лежачих больных.

Прятов вздохнул.

– Хомский? – продолжил он уже требовательно и посмотрел на вещи Кумаронова.

– Где-то здесь, – встрепнулся Каштанов. Глаза его забежали, и Александр Павлович сразу понял, в чем дело.

– Собираетесь отметить молодое пополнение, – молвил он желчно. – А за водкой пошел главный дирижер и режиссер, он же автор сценария.

Не говоря больше ни слова, он развернулся, вышел из палаты и налетел на Кумаронова. Тот деловито нес к себе какие-то бумажки.

– Где вы ходите? Я хотел отправить вас на процедуры.

– Меня уже направили, – бумажный рулон развернулся, и Александр Павлович с неудовольствием увидел направления: в бассейн, в жемчужные ванны, под душ Шарко.

– Я сам сходил, – широко улыбнулся Кумаронов. – Чтобы вас лишний раз не тревожить.

Речи его были налиты ядом. Александр Павлович отошел от него, отомкнул дверь в ординаторскую, набрал номер заведующего физиотерапией.

– Леонид Нилыч, – сказал он, едва поздоровавшись. – Я насчет одного Кумаронова... он только что был у вас.

– Александр Павлович, – донесся опасливый голос, – не связывайтесь. Это сразу видно, что за фигура. Я ему дал, что он попросил. Не трогайте, чтобы не воняло.

Дверь приотворилась, и в ординаторскую просунулась раскрасневшаяся голова Кумаронова.

– Доктор, – напомнила она, – так что у нас все-таки с мангалом?

– Закройте дверь, – отозвался Прятов.

Он вышел, чтобы проскользнуть мимо довольного и лишь слегка озабоченного Кумаронова, но тут же отвлекся на алкогольную бабушку. Она завывала как-то особенно громко. Прятов остановился послушать.

– Что случилось? – громко спросил Александр Павлович, наслушавшись.

– Одеколонику, – прошамкала бабушка. И уточнила: – Ножки протереть, пальчики.

– Миша! – закричал Прятов, и медбрат Миша вышел откуда-то вразвалочку, он только что покурил. – Миша, пойдемте со мной.

Придерживая рыхлого, серьезного, бывалого вида Мишу за плечо, он свел его в угол и пожаловался на бабушку.

– А огурчика ей в рот не покрошить? – прохрипел Миша и пошел в процедурную насосать аминазина в шприц.

– Ей стакан нужен, – удрученно сказал ему в спину Александр Павлович и уже громче крикнул: – Не два куба делай, а шесть! Шесть! Я уже сам делал шесть, пока вы где-то ходили, а ей хоть бы хны!

– Нас переживет! – задорно бросил Мише Кумаронов, проходивший мимо процедурной, и тот взглянул на новенького исподлобья, словно примериваясь.

4

День выдался не операционный, и можно было запросто попить чаю.

Приходящий психиатр, усатый и уютный доктор Иван Павлович Ватников, заглянувший на огонек, объяснял гастроэнтерологу Клавдии Семеновне Раззявиной основы и логику параноидального бреда.

– Вот вы тут ложечку положили, – вкрадчиво поучал он Клавдию Семеновну. – Зачем?

Раззявина, сильно похожая на сытую утку, разволновалась и поерзала на стуле, которого ей было мало; она охватывала, обволакивала этот стул седалищем, как будто готовилась принять его внутрь. Стул медленно нагревался.

– Ложечку? – переспросила она в смятении. – Ну, ложечка... лежит и лежит, сахар размешивать.

Она настороженно следила за Ватниковым, который округлил зеленоватые глаза и предостерегающе поднял палец:

– Как бы не так. Сама ложечка смотрит на вас, а заостренная ручка – на меня, – Ватников оглянулся и прищурился на окно. – Я сижу с северной стороны, а вы – с южной. Вы положили не ложечку, а магнитную стрелку, нацелили эту стрелку на меня. И ваша недоброжелательная энергия перетекает в меня, потому что известно – с юга ничего, кроме зла, не приходит. Вы проложили дорогу астральному лучу, который пронзает в вас подобие Иисуса Христа.

Клавдия Семеновна нервно дотронулась до ложечки. Та расстроено звякнула.

– Вы трогаете не ложечку, а меня, – незамедлительно отреагировал Ватников. – Вы хотите передать мне свои мысли. Но место занято, мне уже передают мысли. Касательно вас. И вот что я думаю: мне следует привязать вас за ногу...

– Гормоны играют, – эндокринолог Голицын усмехнулся, произнеся свою коронную фразу. Ватников остро взглянул на него, со всей очевидностью подозревая в умственном нездоровье, так как в присутствии Клавдии Семеновны играть могли только пищеварительные гормоны, сигнализирующие о полном и окончательном насыщении.

Довольный Голицын не мог ходить гоголем, потому что сидел, и только поглядывал гоголем.

– Иван Павлович, – вмешался Прятков, когда печальное веселье улеглось и Ватников снова принялся сверлить глазами перепуганную Клавдию Семеновну, которая, вообще говоря, давным-давно, еще студенткой позабыла о существовании у человека психики и видела в нем одну пищеварительную трубку. Так что психиатрические откровения были ей в диковину и открывали целый мир, загадочный и враждебный. – Иван Павлович, у меня есть такой Хомский. Жуткая, отвратительная личность, паук, насекомое...

– Знаю его, – коротко ответил Ватников. – Оно у вас который раз лежит, насекомое это?

– По-моему, седьмой. Или девятый.

– Однако. Наградил вас Господь терпением. И что с вашим Хомским?

– Посмотрите его, выставите ему алкоголизм, чтобы все было официально, на бумаге. Он спаивает палату. Его гнать надо, подлеца.

Ватников сокрушенно развел руками:

– Помилуйте, Александр Павлович. Как же я выставлю, если его ни разу не поймали? Он же сам не признается. Я хорошо его знаю, он сам ко мне приходил. Просил таблетки от бессонницы. По большому счету, человека жалко – был совершенно нормальный когда-то давно, занимался языкознанием, играл на скрипке. Когда бы не этот чертов мотоциклист, неизвестно откуда взявшийся на его голову... Начал пить, попал за решетку...

– Вот он сегодня упьется, и я зафиксирую, – зловеще пообещал Прятков.

– Если я буду смотреть всех, кто упился и кого зафиксировали, – промышчал Ватников, пробуя горячий чай, – если я буду всех их смотреть...

– Вас самого придется фиксировать, – кивнул Голицын и взял себе кусочек вафельного торта. – Ммм... откуда тортик?

– Кто-то принес, – пожал плечами Прятков. Тут вошла степенная, но временами вздорная Марта Марковна, старшая медсестра; она принесла целую кипу историй болезни. – Марта Марковна! – позвал он, и та серьезно, переваривая и отражая трудовой процесс во всех его проявлениях, и в чаепитии тоже усматривая нечто значительное, неотъемлемое от труда – так вот: она серьезно и деловито обернулась к Александру Павловичу. – Марта Марковна, откуда такой чудесный тортик? – шаловливо осведомился Прятков.

– Новенький принес, – удивилась та, как будто другие пути поступления тортика были заказаны тортику. – И сестрам принес, – не удержалась она. – Цветы, тортик и... и вообще.

Она хмыкнула. Только теперь все увидели, что Марта Марковна пламенеет здоровым, сангвиническим румянцем. Так бывало всегда, когда сестры обедали со спиритиком и водочкой. Обед у них затевался часов в одиннадцать, и по «Чеховке» расплзались запахи пельменей, картошки, поджаренной на сале, печенки. Потом обед начинался и длился до половины второго. В половине второго сестры неторопливо расплзались по больнице, дополняя запахи материальным воплощением этих запахов: бодрые, веселые, раскрасневшиеся, гордые на средний медицинский юмор. И Прятков понял, что Кумаронов потешил, подкупил сестер, заручился их симпатиями посредством тортика и не только. Он огляделся. Коллеги-врачи вдруг показались ему далекими и недоступными. Он оставался один, он высился воином, покинутым в поле, и на него надвигалось разухабистое идолище по фамилии Кумаронов. Вооруженное до фарфоровых зубов. Идолище скалило зубы, волокло с собой мангал, пританцовывало, показывало на Александра Павловича пальцем. Сестры, переметнувшиеся на сторону идолища, сидели в сторонке за обеденным столом, хохотали, тискали снисходительного медбрата Мишу.

Прятков с усилием проглотил кусок тортика, который вдруг сделался ему омерзительным.

Марта Марковна, переваливаясь и перебирая ногами в плотных чулках от варикозной болезни, посторонила в дверях, пропуская Хомского, который остановился там со смиренным и хитрым, подлым видом.

– Вы меня искали, Александр Павлович? – спросил он с обманчивым подобострастием. – Я отлучился, письмо отправлял племяннику...

Ватников перестал есть и невольно впился в него профессиональным взглядом.

– Подите вон, в палату, – махнул Прятков. – Стойте! Где вы, говорите, были?

– Письмо отправлял. И еще на процедурах, – Хомский оскалил гнилой рот.

Ватников отвернулся от него и сообщил Пряткову, изображая научную заинтересованность ребусом, решение которого в очередной раз ускользнуло:

– Без бреда и обмана чувств. На момент осмотра, конечно, – добавил он уже беззаботно.

Голодный Александр Павлович молча давился тортом. Он понимал, что подобной формулировке – грош цена. Психиатр чрезвычайно осторожен и пуще всего беспокоится о своей шкуре. На момент осмотра бреда нет. А в следующий после осмотра момент бред может и появиться, потому что человек волен спать в любую секунду.

Кумаронов презрительно смотрел на пузырьки, которые Хомский вынимал из разных мест. Хомский предпочитал настойку овса, лечебную жидкость, которую продавали в аптечном киоске, прямо в «Чеховке», в вестибюле. С овсянкой могла сравниться только настойка боярышника, которая была позлее и покрепче. После стакана боярышника оставшиеся немногочисленные мысли выпрямлялись, разглаживались в однородный блин. Сознание приобретало буддийскую специфику, не имея в себе ничего и одновременно вмещающая все. Боярышник валил с ног не хуже дубины, но в больничном ларьке он стоял налитым в неподходящую полулитровую тару. Пузырьки почему-то еще не дошли, не поступили, а их было намного удобнее прятать, да и дешевле выходило.

Хомский вынимал овсяную настойку из карманов тренировочных штанов, из-за пазухи, из-под спортивной кепочки, которую всегда носил, так как стеснялся большой ямы на черепе, оставшейся после второй трепанации. Он вытряхивал настойку из рукавов, доставал из носков, выплевывал из-за щек. И даже в пресловутой черепной ямке нашлось местечко для четырнадцатого по счету пузырька.

Братья Гавриловы жадно следили за Хомским. Казалось, что от общего напряжения даже гипс готов пойти трещинами. Каштанов сидел на краю кровати, болтал перебинтованными ногами, как малое дитя, и ронял слюну, а Лапин еще не проснулся.

– Что же новенький не проставился? – укоризненно спросил Каштанов, оценивающе глядя на строй пузырьков, уже начинавший редеть, потому что Хомский теперь проворно распахивал настойку по разным углам, тумбочкам, под матрацы, в наволочки. Каштанов даже побарабанил пальцами по лошадиным зубам. Глаза у него, как всегда, были выпучены, хотя сейчас он против обыкновения не смеялся.

Кумаронов спесиво фыркнул, расстегнул вторую сумку и вынул две литровые бутылки по здешним меркам очень дорогой и красиво оформленной водки.

– Мангала только нет, – сказал он небрежно, потрясая бутылками. – Землячок, – добавил он насмешливо и презрительно. – Чтобы Кумаронов, да не проставился?

Каштанов подался вперед, потянулся, взял бутылку, уважительно взвесил в руке.

– «Махно», – прочел он название на этикетке и взял вторую – «Ха-ха-ха», – прочел он и второе название. – Что ж, будем соответствовать.

– Спрячьте, что вы их светите, – сумрачно буркнул какой-то Гаврилов.

Лапин, который, как выяснилось, совсем и не спал, а просто лежал и чутко прислушивался к происходящему, и еще уговаривал себя потерпеть и не дрожать от предвкушения так откровенно, пискнул:

– Лепила идет!

Лепилами в палате по старой тюремной традиции, начало которой терялось в глубинах недельных и месячных койко-дней, называли докторов.

У Лапина был очень чуткий слух, и он угадал верно: дверь распахнулась, и вошел Прятков. Александр Павлович был стремителен и расторопен: Кумаронов не успел убрать свои литры и стоял с ними, нагло ухмыляясь и пряча под этой ухмылкой беспокойство и оторопь. Время остановилось, жизнь замерла.

– Ну, так я и думал, – Прятков повернулся к Хомскому. – Процедуры вам, как я вижу, действительно отпустили – в ближайшем магазине. Но вы к процедурам еще не приступили. И не приступите, – он шагнул вперед и вынул бутылки из рук Кумаронова.

– Это мои, – бесстрашно сказал Кумаронов. Он потрясенно изогнул бровь, не веря в очевидное беззаконие.

– Не покрывайте его, – Александр Павлович топнул ногой и кивнул на Хомского. – Я знаю, откуда дует ветер...

– Вы не имеете права, – Кумаронов начинал закипать. Лицо у него побагровело. – Они закупорены. А значит, являются моим личным имуществом. Вы не можете отобрать имущество, которое еще не откупорили.

– Вы получите ваше закупоренное имущество при выписке. У нас часто отбирают всякое разное имущество, особенно при поступлении – часы, ключи, кошельки. – В голосе Прятова слышалось торжество. Он снова взялся за Хомского: – Хомский, ваша судьба висит на волоске. Если это повторится, я выпишу вас с волчьим билетом, и вы больше никогда, ни за что не поступите в нашу «Чеховку». Вы будете ползать, валяться у нас в ногах, заламывать руки и молить, но веры вашему крокодиловому раскаянию не дождетесь...

– Виноват, начальник. Это случайность. Это больше не повторится, – защищая и выгораживая товарища, принимая грех на себя, Хомский раскаянно глядел в пол.

Вся группа была исключительно живописна и просилась на холст передвижников.

Прятов смерил его гневным взглядом и вышел, держа в обеих руках по бутылке. Он даже позабыл, зачем приходил в палату.

Кумаронов стоял красный, его кулаки сжимались и разжимались.

– Он не знает, с кем связался, – прошипел он, одновременно ухитряясь прозвенеть.

– Ничего, ничего, – бормотал Хомский, проверяя углы и щели, по которым рассовал настойку овса. Он поглаживал эти щели, похлопывал, шептал над ними.

– Будет и на нашей улице праздник, земля, – хором сказали братья Гавриловы.

Каштанов, уверовав в неизбежное чудо праздника, раскинул руки, изображая дельта-план, и начал раскачиваться на койке, как будто кружа в полете.

Лапин сидел, удовлетворенно отбивая ладонью такт.

Тем временем в коридорной бабушке закончилось действие лекарства, и она завела свою нескончаемую партию, так что в целом получилось вполне самостоятельно и живо.

Кумаронов, приговаривая «я ему устрою», расположился за столом обиженным запорожцем – писать султану письмо. В правом верхнем углу он вывел: «Главному врачу Николаеву Дмитрию Дмитриевичу».

6

На следующее утро Александру Павловичу доложили.

О многом, не терпевшем отлагательства.

Можно было, вообще-то, и не докладывать ни о чем, и тогда бы оно не только потерпело, но и потребовало.

Однако новость жгла сестринские языки адским огнем.

– Вся палата напилась, – слова вылетали из Марты Марковны радостные, гневные, сдобренные предвкушением расправы. Марта Марковна светилась внутренним светом, испуская победоносные лучи.

– Миша, – Прятов беспомощно посмотрел на медбрата Мишу.

Тот развел руками:

– Не моя смена! Я только сегодня заступил.

Александр Павлович тоже заступал сегодня, ему предстояло суточное дежурство. День начинался с гадости, и внутри у Александра Павловича изготовилось лопнуть нечто большое и яростное. Предстояла долгая писанина, выписка намечалась большая. А Прятов, как истинный врач, терпеть не мог писать выписки, эпикризы и прочие дурацкие бумаги.

– Ваш новенький – жуткая личность, – изрекла Марта Марковна.

Это была увертюра. Слово предоставили Свете, которая сверху до пояса была очень изящной и симпатичной, а ниже, от пояса и до пят – совершенно чудовищной, корытообразной, раздавленной, с вынужденной утиной походкой.

В изложении Светы дело представлялось ясным и гадким, как холодный солнечный день. Мероприятия по приему Кумаронова в действительные члены палаты начались около десяти часов вечера.

– Но они уже раньше шатались, пьяные в дрезину, – вставила осведомленная Марта Марковна.

К полуночи буяны поползли из палаты, пускаясь на разные каверзы. Выкатили братьев Гавриловых и с грохотом возили их по коридору, прямо на кроватях с колесиками, с задранными ногами. Откуда-то появилась маленькая труба, и Каштанов трубил, поспешая следом. Ему уже не мешали переломанные пятки, он радостно косолапил и проникался праздником. Хомский сидел на постели в прострации и не реагировал на замечания. Лапин обмочился и обвинял в этом коллектив»«Чеховки»».

– И все, кроме Гавриловых, ходили ножками, ножками, – Марта Марковна ожесточенно и сладко притоптывала ногой. – Обезболились. Наркоз начался.

Пришлось пригласить казака, который дежурил в вестибюле охранником.

Он похаживал там с кнутом. Его и вызвали уладить дело, но он ничего не уладил, а постепенно втянулся сам.

То был настоящий казак – в фуражке, гимнастерке, галифе и сапогах. Правда, он был весьма низкорослый, практически карлик, и ему не нашлось занятия в местной казачьей диаспоре. Поэтому он и пошел охранять»«Чеховку»» от внешних и внутренних врагов. Так что внешние враги обходили больницу стороной и норовили взорвать или ограбить что-то попроще, а внутренние враги по строгому рассмотрению обычно оказывались внутренними друзьями и единомышленниками. Минувшая ночь не стала исключением. Покручивая усы и бойко перебирая ножками в сапогах-бутылках, казак явился в самый разгар торжества. Его немедленно увлекли с собой, закружили, запутали; откуда-то вдруг появились бутылки, тоже похожие на сапоги, надежно и навсегда изъятые Александром Павловичем. Казак, щелкая кнутом, пустился в пляс. В этом занятии к нему примкнул Лапин, и их обоим силами недовольного санитаря из приемного покоя посадили в особый обезьянник с решеткой, специально предусмотренный для таких танцоров.

Прятов слушал уже не без гнусного удовольствия. Да, предстояла большая выписка, унылое бумажное творчество – зато он оздоровит палату, выметет ее дочиста. Каленым железом выжжет хмельную заразу...

Внутри разливалось тепловатое удовлетворение. Он, даже и не слушая дальше, распахнул папку с историями болезни, вынул первую наугад – Каштанова. Радостно прочел запись врача, дежурившего ночью: лаконичную, губительную. Были отмечены час и минуты; была расписана клиническая картина алкогольного опьянения. «Речь смазана, изо рта – запах алкоголя, критика снижена. На вопросы отвечает вызывающе и не по существу...». Очень хорошо. Вон! Прощайте, Каштанов...

Прятов полистал историю Лапина и попрощался с ним тоже.

С братьями Гавриловыми не оберешься хлопот, придется им заказывать транспорт. Но это приятные хлопоты, напоминающие свадебные приготовления.

От Хомского он теперь избавится навсегда, без права повторного поступления.

Прятов раскрыл историю Кумаронова и застыл. Записи не было. Александр Павлович пискнул:

– А почему же доктор ничего не записал?

Марта Марковна недоуменно развела руками и стала похожа на самовар.

Прятов поспешно, пока дежурный врач не ушел спать, снял трубку и набрал номер:

– Здравствуйте, это доктор Прятов... с травматологии... вы тут у нас побывали ночью... да-да, эти... согласен, совершенные уроды... а что же Кумаронов, есть тут такой... вы, наверное, забыли про него...

– Александр Павлович, – слышалось в трубке. – Я не забыл, я нарочно не стал писать. Дмитрий Дмитриевич, уходя, предупредил меня быть с этим типом покорнее... чего и вам желаю. Скользкая рыба, опасная...

Прятова захлестнуло бешенство. Он положил трубку, схватил ручку и мстительно вкатил Кумаронову запись, пометив ее утренними часами: «Речь смазана... запах алкоголя изо рта... критика снижена». Вот так. Не вырубил топором.

Александр Павлович вышел в коридор.

– Миша! – позвал он.

Миша, строго поглядывая на заворочавшуюся было алкогольную бабушку, явился недовольным медведем-шатуном, и Прятов повелительно сказал ему:

– Передай, Миша, Кумаронову, чтобы собирал вещи. Не фиг тут дурью маяться. И остальные пусть собирают. Пусть пакуются, мерзавцы. И проследи, чтобы не прихватили чужого-лишнего!

Это был верх высокомерия и презрения; Александр Павлович показывал, что даже не выйдет и не войдет к соблазнительям казака. Что он, дескать, посылает к ним маловажного служителя, глашатая высочайшей воли.

Поэтому Кумаронов вошел к нему сам, напоминая не то гору, не то Магомета.

– За что это меня гонят? – спросил он насмешливо.

– Закройте дверь, – молвил Прятов, не поднимая головы от бумаг, изображая занятость и досаду. Но руки у Александра Павловича тряслись, а лицо было малиновое, и это его выдавало.

7

Расправа, затеянная Прятовым, закончилась не начавшись.

– Они отказываются паковаться, – доложил Миша, посекудно сглатывая от удовольствия и предвкушения.

– Почему же это? – глухо осведомился Александр Павлович.

– Они говорят, что раз одного оставили, то и остальные не виноваты.

Прятов поиграл желваками, встал и пошел в палату.

Там все лежали, заново обездвиженные, ибо действие наркоза неблагоприятно завершилось. Лапин держался за голову и вполне честно страдал; Каштанов морщился, всем своим обликом намекая на ужасные боли в переломанных и опрометчиво натруженных пятках. Он искренне раскаивался. Братья Гавриловы оцепенели, как будто гипс поступил им в кровь. Кумаронова, как обычно, не было. Хомский, повернувшись к двери спиной, стирал в раковине страшный носовой платок и воровато оглянулся на вошедшего Александра Павловича.

И тот испытал мгновенное просветление под впечатлением от мирного быта. Прятов, хотя и был еще юн, моментально осознал, что никого он не выпишет, что будет скандал и разбирательство, что виноватым в итоге окажется он, за все и всех отвечающий Александр Павлович. Сначала его вздуют неформально за попытку выписать важного и значительного Кумаронова, а потом, когда тот отлежит законный срок, взгреют официально – за то, что не выписал остальных, имея на руках письменное доказательство их безобразий.

...Вернувшись в ординаторскую, Прятов позвонил Ватникову и спросил совета.

– А вы, дружище, выдерите эти листы совсем, – небрежно предложил психиатр. – Есть такая возможность?

– Такой возможности нет, – тоскливо ответил Прятов. – Там с другой стороны уже написано.

– Кем же?

– Да я и писал, дневники... – тут Александр Павлович, домыслив дальнейшее, прикусил язык.

– Ну так не беда, – хладнокровно изрек Ватников. – Выдерите, как я сказал, и напишите дневники заново. Зачем вы их вообще пишете? Одно и то же ведь.

Прятов понимал, что уже не допустит глупости и пойдет на попятный. Листы придется вырывать. Мало того, что он претерпел унижение от негодяев и пьяниц, не умея их выписать – теперь он еще и перепишет собственные дневники, как набедокуривший гимназист, которого избили линейкой и заставили сто раз подряд написать: «Состояние удовлетворительное, объективно – без ухудшения». Чтобы он раз и навсегда запомнил эту универсальную формулировку, под которую изводятся тонны бумаги и кубокилометры леса.

Собственно говоря – почему «как» гимназист? Он и есть школьник, а это школа. В которой директор Кумаронов, а его милые соседи – преподаватели начальных классов. С Хомским на позиции ласкового завуча.

К этому невеселому размышлению примешалась мысль о ночном дежурстве. Так-так-так. Некая идея, давно закрепившаяся на задворках сознания, снялась с насиженной жердочки и принялась порхать, нигде особенно не задерживаясь. Александр Павлович рассеянно взялся за электрический чайник, еще один подарок довольных жизнью больных, и стал ловить эту мысль, так и представляя ее в виде увертливого колибри, которого он, умозрительно очень ловкий и прыткий, гонял по мозгам и пугал оглушительными ударами в ладоши.

Звякнул телефон.

– Приемное, – процедили в трубке.

– Сейчас буду, – бросил Прятов, недовольный вмешательством в сокровенное.

Он налил себе полную кружку спитого чая, но выпить забыл, ибо отвлекся на какую-то новую умственную тонкость. Идея отяжелела, превратилась из колибри в здорового и неприятного баклана. Александр Павлович болезненно поморщился и замахал руками, отгоняя химеру. Он увидел, как отразился в овальном зеркале: стоит один-одинешенек посреди ординаторской и машет руками.

– Тьфу, – плюнул Прятов, закатал рукава и побежал в приемное.

Нечего и говорить, что Кумаронов повстречался ему на лестнице, между третьим и вторым этажами. Больной поднимался с процедур: дышал внизу горным воздухом, который физиотерапевт Леонид Нилыч назначал всем подряд за экзотичностью и безобидностью мероприятия; этим воздухом дышали, собравшись в небольшие группы, на специальной лавочке, обоня большей частью не горы и не альпийские эдельвейсы, а похмельного соседа. В лучшем случае – его носки. Кумаронов, чувствуя себя в силе и на шите, не поздоровался с Александром Павловичем, зато нарочно выдохнул – проникновенно и долго. Прятов пошатнулся и вцепился в перила. Кумаронов, не оглядываясь, устремился выше, одолевая по три ступеньки за раз.

...В приемном Александру Павловичу выдали шесть новеньких, свеженьких историй болезни, еще даже не склеенных и не прошитых; в каждую было вложено по чистому листу с многозначительной отметкой: температура – тридцать шесть и шесть-семь-восемь. Вялая, но свирепая драка, рваные раны черепа и заслуженные ушибы неизвестной давности. Вся честная компания уже расползлась кто куда; двое копошились на полу, в разных углах смотровой; за третьим охотилась сестричка Оля, грозившая ему шприцем с противостолбнячным уколом; четвертый катил себе вполне комфортно на каталке в рентгеновский кабинет; пятого деловито осматривали на предмет паразитической флоры и фауны; шестой съежился на кушетке, закутался в неудобный пиджачок и мрачно поглядывал на Александра Павловича.

– Добрый день, – сказал Александр Павлович неприветливо и швырнул истории на стол, даже не пытаясь угадать, кто же из шестерых сидит перед ним.

Какая разница, пронеслось у него в голове. Взять наугад первое попавшееся дело и приступить к заполнению. Никто и не заметит небольшой путаницы. Да ее и не будет.

Позднее выяснилось, что историй должно было быть семь. Про седьмого забыли. Его тоже свезли на рентген, отсняли череп, прикатали обратно, завезли на каталке почему-то в пустую терапевтическую смотровую и там забыли.

Это было тем более удивительно, что каталки в приемном отделении числились в исключительном дефиците. Их было две. Поэтому то, что позабыли про натуру, которую фотографировали на рентгене – это еще ладно, а вот почему не хватились второй каталки – серьезный вопрос. Из-за каталок постоянно вспыхивали ссоры; каталки систематически воровали работники разнообразных отделений, и даже в бассейне одну из них однажды нашли, точнее – возле бассейна, хотя плавать больным, которых возили на каталках, не разрешалось.

Поговаривали – но это недостоверно – что однажды охранник-казак собственноручно приволок каталку с чердака, ругаясь в бога, и в душу, и в мать.

И вот позабытый седьмой, как выяснилось впоследствии, пролежал, всеми брошенный, четыре часа. Спал, пока не свалился на кафельный пол.

К чести Александра Павловича нужно отметить, что снимок черепа он все-таки посмотрел, пускай и без пациента, и даже проконсультировался по его поводу с бежавшим мимо нейрохирургом Мозелем.

Прятов еще не имел достаточного опыта, чтобы досконально разбираться в хитросплетениях черепных костей, которые на снимке и так накладываются одна на другую, а если еще поворочать после укладки одурманенной головой, то дело – полная дрянь. Ничего не понятно.

Раздраженный Мозель, вынужденный остановиться и задержаться, почесал лысое темя, вздохнул и стал диктовать:

– Пиши. На мокрых... рентгенограммах черепа... записал? ...убедительных данных... за структурную патологию... не выявлено. Молодец. Теперь ни одна собака не подкопается. Потому что, – Мозель поднял прокуренный палец, – во-первых, снимки мокрые. Не все видно. Их преждевременный анализ говорит о служебном рвении и понимании неотложности ситуации. Во-вторых, слово «убедительных». Можешь его подчеркнуть. Покажи, что ты честный человек и у тебя есть профессиональные сомнения. Двумя чертами подчеркни. Припиши еще: наблюдение в динамике. Контроль по ситуации. Вот и все.

Прятов почтительно кивал и строчил в истории болезни. Он все схватывал на лету.

Тут загрохотали колеса: санитар привез с рентгена того самого типа, с которым Александр Павлович разминусь, когда спешил в приемное. С черепа капала кровь, подопечный ворочался и хрипел какие-то угрозы. Рядом тяжело топал какой-то здоровый на первый взгляд, но сильно шатавшийся человек.

– Братан, – приговаривал он, порываясь погладить братана. – Я тебя в обиду не дам... Спасу тебя, братан... Я им за тебя – знаешь, что?

Он с ненавистью обводил взглядом приемное отделение, задерживаясь на Прятове и Мозеле.

– Я побежал, – сказал Мозель.

– Пойдите! – Александр Павлович, забывшись и фамильярничая, придержал его за рукав и отшвырнул первый снимок, принадлежавший неизвестному, которого забыли в терапевтической смотровой и о котором никто не знал. – А этого? – он указал на братана, поджавшегося на кушетке.

– Бога побойся! – вскричал Мозель. – Зачем тут я? Зашей его и отпусти.

Тот братан, что держался на ногах, ощутил какую-то несправедливость и заподозрил пренебрежение.

– Да я! – заревел он, наливаясь перебродившей кровью. – За братана!..

Лежавший на кушетке вдруг забулькал и стал деликатно покашливать.

Прятов уже знал, чего ждать.

– Переверни его лучше, – велел он укоризненно. – Он же сейчас начнет блевать и захлебнется.

Агрессия возмущенного брата мгновенно сменилась заботой и участием.

– Сейчас-сейчас, – забормотал он, бросился к тошнотворно сокращавшемуся товарищу, стал переворачивать на бок и уронил. Тот грохнулся с каталки; череп, соприкоснувшийся с полом, произвел арбузный хруст и части его сделались подвижными на манер разболтанной черепицы.

Повисло молчание.

– Вот теперь он мой, – с отчаянием и с некоторым злорадством признал Мозель.

9

Александр Павлович обедал.

Он просидел в приемнике полтора часа, оформляя битую публику. Он сколько-то времени побегал вокруг злополучных докторов, но Мозелю было не отвертеться, да и реанимация подтянулась, а потому Прятов незаметно скрылся в своей смотровой, тихо радуясь, что смотреть придется не шестерых, а пятерых. Про седьмого, спавшего на каталке в терапии, он по-прежнему ничего не знал. Он видел снимок, но в суматохе отнес его на счет кого-то другого.

Потом Александр Павлович вообще отвлекся, потому что к нему заглянул знакомый доктор со скорой, и на все про все с посторонними разговорами ушло часа полтора. Незаметно подкрался обед, полагавшийся дежурному доктору. Сначала он подступил в хорошем смысле, то есть приблизился по времени, но потом подступил к горлу. На выходе из пищеблока Александр Павлович столкнулся с Хомским.

Кутаясь в халат, тот порывался проникнуть внутрь, с алюминиевым чайником в руке.

– Куда? Нельзя сюда, – угрюмо предупредил Прятов.

Хомский удивленно поиграл чайником:

– Так Миша послал. За компотом для сестричек...

От носков Хомского поднималось что-то такое, что равномерно поступало ему в кровь и выделялось через глаза и рот. Александр Павлович вдруг отпрыгнул. Он хорошо покушал, сегодня был куриный день: ему выдали полную тарелку не самого вкусного, но зато исключительно горячего супа, а потом положили две порции курицы вместо одной – за то, что Прятов никогда ничего не взвешивал и не проверял, пробу не снимал, закладку масла не контролировал, и все ему за это приветливо улыбались из облаков пара, клубившихся над котлами.

Особенной любовью Александр Павлович пользовался у бабушки Августы – буфетчицы Августы Гордеевны, которая заодно подрабатывала кем придется: санитаркой, уборщицей, сиделкой.

Она как раз маячила вдалеке, возле котлов и самозабвенно прощалась с поевшим Прятовым, махала ему тяжелой рукой, провожала. Александр Павлович бросился наутек, отчаянно боясь бабушки Августы. Ей было лет семьдесят при вероятном плюсе и не столь вероятном минусе. Одутловатое лицо, в котором навеки уснула совесть; заплывшие глазки. Рост был бы миниатюрным, но прилагательное казалось неуместным из-за совокупного объема Августы. Халат ниспадал балахоном, весь в заплатах; рукава закатаны, сдобные локти скрещены на размытой грудобрюшной границе, где спит нерадивый, одинокий часовой в полосатой будке. Синие треники с лампасом, тонкие короткие ножки, пузо, плоскостопие. Талия – в области шеи, замаскированная десятикратным подбородком. Насупленные брови. Короче говоря, работница дореволюционного выпуска, прабабушка милосердия.

...Устрашенный Августой и Хомским с чайником, Александр Павлович помчался было к себе на этаж, но вынужденно притормозил, остановленный криками, летевшими из приемного.

Александр Павлович, как он сам полагал, все сделал правильно и без изъяна, но крики в больнице – особенно в»«Чеховке»», хотя других больниц Прятов пока не попробовал на себе – всегда настораживали: любое скандальное дело, которое, казалось бы, не имеет к тебе никакого отношения, по странному выверту могло коснуться тебя самым неожиданным образом, более того – поместить в самую серединку событий.

Он разволновался не зря: не причастный в главном, он все же оказался причастным косвенно.

10

Нашелся седьмой больной.

Он проснулся, свалился с каталки и повторил судьбу своего товарища. Череп разлетелся на куски, и он жил за счет мозгового ствола, доставшегося человеку от животного, а то и от растительного царства.

Мозель безмолвно потрясал кулаками и багровел, стоя над несчастным.

– Он же помрет сейчас! – кричал Мозель. – И вы будете отвечать! И я буду! Но меньше вас! А вы будете иметь бледный вид!

Хомский, так и ковылявший мимо с тяжелым чайником, полным компота, задержался посмотреть.

Александр Павлович растерянно перебирал бумаги, никак не в силах сообразить, как это так вышло, что клиент ускользнул от его внимания. В руки ему попался уже знакомый рентгеновский снимок.

– Вот! – воскликнул Прятов. – Кто-то же им занимался! Вот его снимок!

Мозель подскочил, выхватил скользкий лист.

– Очень удачно, – молвил он неожиданно. – Молодцом, Александр Павлович. Череп-то целый! На снимке! Это очень хорошо, что его успели сфоткать...

Привлеченный криками, к Хомскому присоединился распаренный после ванны Кумаронов.

– Грузите его, – командовал Мозель. – Снимок есть, историю сейчас оформим. Мы не при чем. Череп целехонек. А что там дальше стало, мы не знаем. Никто не посмеет вякнуть, будто мы прозевали травму. Везите его в реанимацию!

Реанимация, с которой связались по телефону, привычным образом заартачилась. Явился реаниматолог, сильно раздраженный тем, что его уже во второй раз гоняют в приемник.

– Какая реанимация, – буркнул он, тыча пальцем в неподвижное тело. – Не гневили бы Бога, да?

Сестры приемного покоя злобно рассмеялись, показывая, что выхода у реаниматолога нет. Тот обреченно проводил каталку взглядом. Расколотый череп уже везли в его суетливое королевство.

– Да, дела, – покачал головой Хомский и многозначительно посмотрел на Кумаронова. Оба так увлеклись, что полностью вошли в приемник и присоединились к толпе.

– Что вы тут делаете? – напустился на них Прятов.

Те дружно попятились, не меняя почтительно-насмешливого выражения лиц.

«Спелись», – с неудовольствием подумал Александр Павлович.

11

В дверь ординаторской постучали.

Александр Павлович только что вернулся и засел писать очередное представление на инвалидность. Недавний обед постукивал в печень тяжелым копытом.

Вошел Кумаронов. Спортивный костюм замаячил кричащим пятном, от которого у Прятова заболела голова. Кумаронов излучал хищную самоуверенность.

– Виноват, – изрек Кумаронов подчеркнуто вежливо. – Как зовут вашего главного врача?

«А то ты не знаешь», – подумал Александр Павлович, и сразу понял, что ненужный вопрос – предлог.

– Дмитрий Дмитриевич Николаев, – нахмурился Прятов и выжидающе посмотрел на спортивное пятно, моргая по-кроличьи.

– Мы будем писать на вас жалобу, – зловеще улыбнулся Кумаронов и изогнул бровь, глядя на доктора искоса, с вызовом на бурную реакцию.

Тот покраснел и отложил ручку.

– Пишите, – Александр Павлович не без труда вернул себе самообладание. – И на что же вы жалуетесь?

– На беспочвенные угрозы. Не имеете права выписывать. На бездушное отношение – и ваше лично, и всего персонала. За безобразие в приемном покое. Людей гробите почему зря, на пару с этим, лысым...

Прятов не сдержался:

– Мангал не дали поставить?

– Это пустяки, – хохотнул Кумаронов, втягиваясь в дверной проем. – Мангал я поставлю. На нейтральной территории. Но так, чтобы вам было видно из вашего окна.

Дверь за ним притворилась, и Александр Павлович в отчаянии уронил голову в подставленные ладони. Он действительно был еще очень молод, и на него никогда не жаловались. Он отчаянно боялся этих жалоб и рисовал себе ужасные, унижительные процедуры: выговор простой и выговор строгий. Хорошенькое начало карьеры.

Хамство и показная беспечность, которых он нахватался, служили защитной кожурой для хрупкого, отроческого «я». Пресыщенный цинизм копировался с матерых зубров от врачевания, не имея корней в глубинах души Александра Павловича. Корни, конечно, уже начинали расти, уже вытягивались: Прятову, когда он размышлял об этих корнях, вспоминались школьные опыты с проращиванием фасоли в стакане воды. Там были такие же трепетные, нежные корешки. Или это была не фасоль, а очень даже овес? При чем тут овес? При том, что овсянка, которая есть его настойка...

Прятов отнял лицо от ладоней и сжал кулаки. Не посмеют. Чтобы вся палата – да ни за что. Никто из них – ни Хомский, ни Лапин, ни остальные – не сможет поступить в больницу повторно, на реабилитацию. Даже если они выиграют дело и вообразят себя сидящими на щите. И дело не в Александре Павловиче, ибо он мал и слаб, а дело в самом Николаеве, который выговор-то объявит, но жалобщиков запомнит и занесет в черный список. Нет, это блеф. Палата не подпишет. Жаловаться будет – если будет – один Кумаронов. Ему-то что! Откосит свое – и привет. Отлежит и нажалуется прямо перед выпиской.

Очень плохо, что он упомянул приемный покой – ситуация нестандартная, деликатная. Надо предупредить Мозеля. Впрочем – почему же Мозеля? Тому ничего не сделают, а виноватым назначат Прятова. Ведь это он сегодня дежурит – значит, он и виноват в том, что седьмого клиента позабыли в пустом кабинете, и уронили, и сочинили некрасивый трюк со снимком. Забыли приемные сестры, это понятно и ежику, но сестры ни за что не отвечают – только доктора. Сестра слепу может вручить доктору нашатырный спирт вместо новокаина, как это было совсем недавно на гинекологии, во время аборта, и ей ничего сделали, потому что она дура согласно тарифной сетке. А доктору сделали, доктор должен был прочитать сначала, что там такое написано на банке. И ни в коем случае не доверять сестре...

Но и Мозеля не забудут. Профильные больные – значит, все, что с ними случается, имеет непосредственное касательство к специалисту.

Прятов снял трубку.

– Иосиф Гершевич на операции, – ответили недружелюбно.

Склеивает остатки черепа, сообразил Прятов. Ладно, потом. Что же делать? Мысли метались в панике. Рука вновь потянулась к трубке: надо предупредить Николаева. О чем? Зачем? Что это даст? Николаев пошлет его к черту и скажет, что он сам виноват и сам будет отвечать. Возможно, что и ничего не скажет. В первый раз, что ли? Наверняка нет. И как-то выпутывались...

«Сегодня снова нажрут», – без всякой связи подумал Прятов о Кумаронове и его соседях.

И в голове у него поплыли утренние мысли; их содержание теперь виделось донельзя настоящим, требующим решительных мер. Мечты и грезы преобразовались в осознание суровой необходимости.

«Профилактика, – прилетело индифферентное слово. – Профилактика катастроф. Отечественная медицина ориентируется на профилактику. Нас так учили. Главное – предотвратить беду...»

Александр Павлович вдруг сильно разволновался, бросил писанину, возбужденно заходил по ординаторской. Его очень радовало отсутствие других докторов, никто не видел его горячки. Мысли перестали путаться и выстроились в некоторое подобие цепи. Но тут из коридора донесся топот и сдержанный шум голосов. Прятов выглянул и увидел профессора Рауш-Дедушкина, который только что вышел из палаты Кумаронова в сопровождении стаи студентов... нет, интернов, уж больно они были аккуратные и серьезные.

Рауш-Дедушкин, очень и очень бодрый для своих семидесяти пяти лет, весело зашагал по коридору, выпячивая академический живот.

– Так что сейчас, господа, – он договаривал на ходу начатое еще в палате, иронически выделив слово «господа», – мы пройдем этажом ниже и обсудим некоторые аспекты врачебной этики... Врач, дорогие мои, несет ответственность за каждое свое слово, каждый слог, каждый жест...

«С чего бы? – затаил дыхание Прятов. – Ну, понятно – даже профессору нажаловались. Ему-то зачем? Это же свадебный генерал».

Толпа прошла мимо притихшего Александра Павловича, не уделив ему никакого внимания. Шагов через двадцать Рауш-Дедушкин задержался и заглянул в незапертую отдельную палату, что была справа, обособленно от других помещений скорби. Прятов осторожно вышел и присоединился к компании – не вполне, держась в известном отдалении.

– А здесь что? – осведомился Рауш-Дедушкин, указывая на черные ботинки, безжизненно торчавшие из-под одеяла, и с силой втягивая носом воздух.

– А это начмед, – подсказал Прятов.

– А, ну тогда пойдем дальше, – профессор утратил к палате интерес и вскоре уже выходил в дальние двери, но Александр Павлович стоял, шурился на бесчувственную фигуру под одеялом и что-то соображал. В палате стоял устойчивый коньячный дух, к которому примешивался запах овсянки. Прятов еще не очень хорошо разбирался в подобных тонкостях, и ему чудилось, будто он обоняет вокзальный сортир.

При виде Хомского Гавриловы открыли глаза и дружно протянули к нему дрожащие татуированные руки. Каштанов заворочался, приподнялся на локте, мутно взглянул. Лапин дело-

вито откашлялся и вынул из тумбочки эмалированную кружку. Вынул из нее зубную щетку, отшвырнул.

Хомский, вынимая пузырьки с настойкой овса, озабоченно покачал головой:

– Придется вторую ходку делать... Налетайте, лечитесь.

Кумаронов, от нечего делать читавший календарь, при этих словах победно ухмыльнулся, завел ногу под койку и пинком выдвинул знаменитую сумку. Внутри тревожно звякнуло. Кумаронов ничего не добавил, потому что звон был красноречивее любых слов. Хомский хохотнул с недоверчивым одобрением. Кумаронов уверенно завоевывал для себя положение палатного старосты – или, скорее, камерного смотрящего. Хомский ничуть не беспокоился о себе: такие скороспелые авторитеты, как Кумаронов, приходят и уходят, и остаются в памяти отможенными бакланами. Зато завсегдатаи старой закалки как поступали в плановом порядке, так и будут поступать впредь, вопреки молодым и необъезженным докторам, покушающимся на основу существования палатного сообщества.

Гавриловы чокнулись кружками, выпили и синхронно скривились.

Лапин опрокинул в себя флакончик и тяжело застонал от сладости.

– А что же ты на поддувку свою не спешишь? – ехидно осведомился Кумаронов. – Из горлышка надежнее?

Лапин, давясь огненными каплями, просипел:

– Я только что с нее. Видишь, на животе лежал, как велено? Мозель сегодня злой. Вдул так, что мама не горюй.

– Не нужна тебе никакая поддувка, – веселился Кумаронов. – Капельница с овсянкой – и все как рукой снимет. В обе руки. Пять минут – и в космосе...

Лапин мрачно молчал.

Хомский ухмыльнулся про себя, наблюдая, как новенький нарушает неписанные палатные законы. Сомневаться в недугах товарищей, потешаться над ними – запахло!

Хомский исправно соблюдал все правила и кодексы госпитальной жизни в ее изнаночном варианте. Что не мешало ему вот уже несколько лет состоять тайным осведомителем при врачах и медсестрах. Такое часто случается в тюрьмах и зонах, где даже иные законники ходят в наседках – пока не разоблачат и не удавят. Он был от природы пытлив, то есть всюду совал свой нос и все про всех знал. Он никогда не доносил на товарищей в обычном смысле этого слова, но как-то так выходило, что сестринский персонал неизменно оказывался превосходно осведомленным в мельчайших интимных подробностях их быта. Поэтому многочисленные выходки собственно Хомского всегда этим персоналом покрывались и замалчивались; дело выходило к обоюдной пользе. Кто из соседей куда уходил и откуда приходил, каких принимал гостей, может ли одолжить в долг, чем питался на ужин помимо стандартного рациона – все это порой оказывалось весьма важным для плавного течения лечебного процесса и позволяло избежать многих неожиданностей. И стоило какому-нибудь доктору – особенно молодому, вроде Прятова – не выдержать и пресытиться добродушным видом Хомского, как сестры – истинные хозяева отделения, да и всей больницы – дружно поднимали агента на щит.

Потому что «Чеховка» целиком и полностью подтверждала выводы, сделанные западными социологами касательно коллективов, численность которых превышает тысячу человек. В таких местах основное предназначение организации вдруг становится второстепенным, и она начинают функционировать с единственной целью самосохранения и выживания сотрудников. Она, организация, превращается в микроскопическое государство – если не суверенное, то достаточно автономное, с правом внешнеэкономической деятельности, со своими музеями, законами, традициями, неформальными лидерами. И строй там – феодализм. А в «Чеховке» трудилось больше тысячи человек...

Между прочим, этому Хомскому удавалось предотвратить и раскрыть даже крупные, дерзкие преступления. Например, он приметил вора с улицы, который воспользовался отсут-

ствием врачей и как раз выносил из ординаторской новенький телефон, прятал его в рванный мешок, чтобы продать на углу, когда Хомский уже докладывал медбрата Мише об уголовщине; вора скрутили, а с доброго профессора Рауш-Дедушкина, когда негодя волокли мимо, мгновенно сошла академическая накипь, и он каким-то неожиданно блатным голосом закричал, указывая на преступника: «И все остальное, что пропало – тоже, тоже на него повесьте!»

А если провороваться случалось кому-то из пациентов, то Хомский, мгновенно о том прознав, завершал расследование кроткой и краткой беседой, после чего оступившийся человек пристыженно вынимал из сумки уже упакованный утюг, чайник, пододеяльник или еще что-то в этом роде.

И вот сейчас, несмотря на приятные перспективы употребления овсянки, а то и более благородных продуктов с подачи заносчивого Кумаронова, Хомский томился без дела. Он изнывал без преступления, одновременно тревожась за собственную будущность – осведомитель, ни в чем не осведомляющий, теряет ценность и привлекательность. Но в то же время его сознание, отчасти деформированное травмой черепа, улавливало близость чего-то серьезного. Хомский чувствовал, что тучи сгустились и скрывают в себе разящую молнию. В воздухе, как правильно поется в песне, пахло грозой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.